

МИХАИЛ ЯСНОВ

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

ИЗ ЛИРИКИ
ПОСЛЕДНИХ
ЛЕТ

Книгоиздательство
«ВСЕМИРНОЕ СЛОВО»
Санкт-Петербург
1995

МИХАИЛ ЯСНОВ

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

**ИЗ ЛИРИКИ
ПОСЛЕДНИХ
ЛЕТ**

**Книгоиздательство
«ВСЕМИРНОЕ СЛОВО»
Санкт-Петербург
1995**

Новый сборник стихотворений

Михаила Яснова

состоит из двух разделов:

«Подземный переход» представляет лирику последних лет;
в **«Алфавит разлуки»** вошли стихи, написанные в 70—80-е годы,
из не вышедших в то время книг автора.

Оформление *Галины Лапшовой*

ISBN 5-86442-014 X

© «Всемирное слово», 1995 г.

© Михаил Яснов

© Оформление Г.Лапшовой

I.

* * *

Я сажусь в электричку и еду в ближайший пригород.
Я слушаю местный выговор. Я приколот,
как мотылек, к пустому окну, за которым прыгают
капли и градины. В щели вползает холод.

Два иностранца, бог весть откуда, глядят, судача,
как за окном появляется то, что имеет сходство
с тем, что на всех языках называется *datcha* —
а по-русски, огородничество и садоводство.

Эти времянки, и ржавь, и горбыль, эта серость и сирость,
эта, на взгляд иностранный,

фантастика в духе Стругацких,
и — как ни силюсь иначе сравнить —

все равно что приснилось:
это подобие братских могил, безымянных, солдатских.

И получается так, что когда меня спросят, не смог бы
я в двух словах рассказать о земле, на которой вырос,
не назову ни березы, ни пальмы, ни клюквы, ни смоквы,
скажу про горбыль, опилки, фанеру

и сырость, сырость...

УЛИЧНЫЕ ВЕРЛИБРЫ

Что хорошего в уличных художниках?
Они навязчивы и хамоваты,
они малоталантливы, но корыстны,
они развязны и порой под мухой.
Но когда они ловят жертву
и та наконец садится позировать —
прихорщивается, приосанивается и улыбается,
я думаю: до чего же молодцы эти художники,
которые заставляют собраться,
заставляют улыбнуться,
заставляют глядеть открыто
и трепетать, трепетать от надежды
этих несчастных женщин.

Что хорошего в уличных фотографях?
Они путаются под ногами,
они стараются всучить вам свои квиточки,
они вызывают к вашему тщеславию,
надеясь на нем неплохо подзаработать.
Но когда вы клонете на их вылетающих птичек
и получите из далекого южного города
втридорога оплаченные фотографии,
вы увидите себя солнечным утром на центральной улице
с блаженной улыбкой и открытым ртом
взирающего на прохожих,
и поймете, что это утро многого стоит.

Что хорошего в уличных точильщиках?
Пожалуй, вам уже никто не ответит,
что в них хорошего и что плохого.

ибо их уже не осталось в городе:
исчезли, испарились, вымерли точильщики.
Та же судьба постигнет когда-нибудь
уличных художников и фотографов, —
но я-то помню, помню,
как слетали искры с кремневого круга,
освещая мое детство
острым, слепящим, щемящим, мгновенным огнем.

* * *

То ли ранняя тьма, то ли снова зима —
тень все громче беседует с тенью,
и как призраки старости, бродят дома,
приходящие в запустенье.

В них еще по-старинке гнездится тешю,
обветшалые двери листья,
но подъезды все чаще встают на крыло
и сбиваются в черные стаи.

Их, как гальку, катает по небу волной
облаков и минутной свободы.
А пустые провалы бредут под луной,
опираясь на дымоходы.

И покуда вполнеба гремит воронье,
бродит старость все тише, бесшумней,
и, пока я с опаской гляжу на пёс,
исчезает в моей подворотне.

* * *

Вячеславу Лейкину

Чем больше клеветы, тем больше в ней
правдоподобия; авторитеты,
растущие, как волос на покойнике;
содружество; игра в подлянку;
сначала — «Приключения Свиноккио»,
позднее — съездонад; потом эпоха
вымиранья бабочек; явные
тех, чей образ, предположим, мыслей —
истерика; «спидолище» поганос,
пожирающее время и словарь;
да вот еще бродящий по газетам
смешной и злобный карлик, все готовый
измерить собственным аршином, ибо
наскучное житье определяет
уничиженное сознание.

Между тем
телячьи нежности пошли на отбивные,
и голубятни над забором детства,
подобно выпикам в зоне, поднялись.
Пройдя сквозь тьму своих несовершенств,
мы вышли к свету.

Ну а там —
чем больше клеветы, тем больше в ней
правдоподобия...

ВНИЗ ГОЛОВОЙ

/

Я прожил жизнь в эпоху пропасти —
ни безрассудно, ни подсудно.
Но взбили черный воздух лопасти
перевёрнувшегося судна.

Я видел это погружение
лишь на картине да экране —
меня спасало окружение,
два борта выравнивая заранее.

Но круг друзей волной отвесною
размыт и разведен кругами.
Вниз головой випу над бездною,
мапу плесеными руками.

2

Зависнув между поколениями,
качаюсь, — кто на что горазд! —
зажав пространство под коленями,
как на трапции — гимнаст.

Вниз головою над арсною,
тем — на смех, а иным — на страх,
випу, судьбу свою мигновенную
удерживая на руках.

Вовсю качается трапедия
в кругу псевидимых границ.
Успел смириться, притерпеться я
к мельканию досужих лиц.

Один, во тьме, как полагается,
лечу — и по сердцу судьба,
когда летящий полагается
лишь на себя... лишь на себя...

ОСКОЛКИ ЭЛЕГИИ

Владимиру Салите

Сухие очертанья замков,
как некогда писал Случевский,
остались в прошлом. По дороге
уже Ивангород и Нарва
не будут каждый год встречать нас.

Утрата Тарту — перевертыш
стал жизнью.

рифму «вязко — Вярска»
не омочить в пути плотками
колючей жидкости.

А там,
на детском пляже в Гунесбурге,
все ходит маленькая Аня
среди нянюшек и гувернанток
и южный свой загар смывает
холодным морем.

в кружевной
тени, полезной и младенцам,
и старикам.

.....

Повсюду доски
мемориальные! Какие
все имена! И житель Тойлы
выманивает на прогулку
затворца Пярну.

В Вашингтоне
теперь мой друг рыжесбородый,
с которым мы ходили вдоль
пустого пляжа и смотрели,
как солнце тает в рыжем море.

.....
И поэтесса Бетти Альвер
с ее гербарием железно-
дорожной флоры.

И все реже
мне пишет Лезло из Руйлы.
Все дальше, дальше тихий хутор,
еще чуть-чуть — и пропадет
за горизонтом.

из коры
кораблики.

.....
проклятой властью
дарованное счастье.

ИЗ ДНЕВНИКА ПЕРЕВОДЧИКА

1

Песни еврейского гетто...
Как времена ни крои —
Рига дымами одета,
Вильнюс в слезах и крови.
Память тоской не насытишь,
сколько ни пой, ни грусти, —
бьется в подстрочнике идиш
сердцем, зажатым в горсти.

Снова, как в год неминучий,
танками выгравлен сон.
Нотной строкою колючей
крохотный мир обнесен.
Снова звучат до рассвета —
как времена ни крои —
песни еврейского гетто,
тихие песни мои.

Выйдет на площадь проходчик,
встанет в пикет кочегар, —
только тебе, переводчик,
выпал единственный дар:
выгянув, как в лотерею,
ту, ариаднину, нить,
старую песню еврея
с новой молитвою слить.

13.1.1991

Какая дурная история
случилась с моим ремеслом:
прощай, дорогая Эстония, —
полжизни отправим на слом!
И как там душа ни лелеяла
твой говор, и гонор, и статью,
но Арви, и Рейна, и Леэло
я так и не смог досказать.

Не думал о призрачной славе я,
копая прозрачный родник:
прощай, дорогая Молдавия, —
к чему тебе русский язык?
Цветов бесшабашная оргия,
и сладость, и зной, и ленца,
но Петру, Иона, Георге я
не смог досказать до конца.

Не будем большими провидцами,
и что там в душе ни таи,
но мы заглушили границы:
не тяжбы, а дружбы свои,
влечения сердца и разума
отправив под спуд и в запас.
Но все, что у нас не досказано,
никто не доскажет за нас.

27.1.1992

* * *

Жил-был еврей рассеянный
во всей красе и силе.
Жил-был, как все, — рассеянный
почти по всей России.

Средь улиц и завалинок
жил при своем достатке:
на пятки вместо валенок
натягивал перчатки.

Бродил своей походкою
от Вятки до Анапы
порой со сковородкою
надстой вместо шляпы.

В вагончике отцепленном
так сладко просыпаться!..
Теперь в золс и пепле нам
приходится копаться.

Всё выскоблено дочиста
и выгорело начисто —
осталось только творчество
по имени чужачество.

Чужачество! От мира ведь
куда ему деваться?

В чудетство эмигрировать
и заимироваться.

Кати в свосм вагончике,
нелспый, бесполезный,
по лезвию, на кончике,
над этой страшной бездной.

Глядишь, и карта выпадет,
и вытянется фант...
Ну, что еще нам выпадет,
сврйский музыкант?

* * *

Раньше жили по-тадно, теперь — постыдно,
одиночество не приносит проку,
все равно уже проставлены клейма,
расставлены точки, разобраны судьбы.

Был я когда-то за всех в ответе,
после стал я за нас в ответе,
нынче никто ни о чем не просит:
нет вопроса — и нет ответа.

Даже в справочной по телефону
отменили «Ждите ответа!»

А никто и не ждет, ибо нет спросу
на то, что сомнительно и за деньги.

Если бы можно было вернуться
в то наивное детское стадо,
быть прозорливей и увернуться
от клейма и веселья топтать
друг за другом, сладко мечтая
быть поближе к передовому...

ВЧЕРА И ЗАВТРА

1

Начинается земля,
как известно, от Кремля.
И кончается земля,
как известно, у Кремля:
там, где крепкий дух стоит
извести и серы,
где вмурованы в гранит
наши землемеры.

2

Одни — витии,
другие — парии.
Тех — засветили,
а тех — напарили.
Одни — в кутузке,
другие — в клетке.
Живем под дулом
русской рулетки.

СЕГОДНЯ

Бегония в бега пустилась,
кувшинка в озере разбилась,
медвежьи ушки плохо слышат,
и ландыши на ладан дышат.



Андрею Чернову

К тридцати мы забываем науку,
которой нас обучали в детстве:
не хныкать, не ябедничать, не трусить.
Чуть что заболит — начинаем охать,
на соседа показываем пальцем,
от зависти к чужим игрушкам
готовы их сломать, похитить.

К сорока нас обуревают страхи,
детские массовые психозы:
за каждым углом нас поджидает
зыбкая тень папаши Фрейда.
Инфантильная меркантильность
перелопачивает судьбы
в грезах о наследстве, о кладе.

К пятидесяти, когда начинается
медленно вымирать поколенье,
тянешь на себя одеяло,
примеривая к себе чужие
письма, поступки, порывы, болячки.
А в зеркало пальчиком грозит
поздняя наука детства.

* * *

Марине и Грише

Сгорает последняя горстка,
прощальная горстка друзей.
Опять не хватает подшерстка,
но в детстве бывало теплей —
поскольку небесные трели
нет-нет да стучали в стекло,
поскольку иллюзии тлели
и грели, давая тепло.

Но ежели честно признаться,
с былым не вступая в игру, —
не так-то уж нам обольщаться
случалось на прошлом ветру,
на зыбком ветру перекрестка,
под взглядом опасных глаз,
покуда колючая шерстка
вовсю отрастала у нас.

С годами найдется управа
на то, чтоб не слишком пропасть.
Но главное вовсе не слава,
не память и даже не страсть,
а тот неприметный подшерсток,
хранитель естественных сил,
как тот непременный подросток,
который нам души слепил.

* * *

Что осталось от наших игр?
Где вы, игры?
Умер Ваня и умер Игорь.
Нету Иры.
Стариков хоронить и то
просто мука.
Жизнь уходит сквозь решето —
и ни звука.
Разгребай свои погребя,
жди подвоха.
Что нам выпала за судьба, -
за эпоха?
Мы-то думали жить и жить
век отборный,
а приходится шить и шить
саван черный.

Вслед повесткам живем и вслед
похоронкам.
Время смотрит на белый свет
вороненком.
Ждем привычно дурных вестей
поневоле.
Не собрать нам своих костей
в этом поле.
Умирают мои друзья
молодые.
Что нам выпала за стезя,
за гнеды?
Путь не хожен, а жизнь груба —
и ни вдоха.
Разгребай свои погребя,
жди подвоха.

* * *

Все посланья мной уже получены —
я теперь их только распечатываю:
нахожу конверты стародавние,
в книге ли заложенные, просто ли
завалявшиеся между папками;
нахожу в них малюшкис сведения,
извещения или приглашения,
так мою жизнью и не ставшие.

Все мои друзья уже проявлены —
я теперь их только распечатываю:
нахожу на старых пленках кадрики,
не остановившие внимания,
заслоненные иными планами,
где все больше, четче и красивее;
но теперь куда милей распылчатость,
беглость, переполненность деталями.

Все мои стихи уже написаны —
я теперь их только распечатываю
на машинке старенькой, зависящей
от погоды, и к дождю суставами
начинающей скрипеть; и литеры,
скачущие, стертые, откуда-то
из небытия доносят прежние
ритмы, переносы, звуки, шорохи.

Все мои бутылки преждекуплены —
я теперь их только распечатываю:
запиваю строки неуклюжие,
запиваю лица заповедные,
запиваю вас, приметы прошлого,
забываю, что успел начать.
На ладони остается крошечко —
вот и снята первая печать.

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

Земную жизнь пройдя до половины,
я заглянул в подземный переход.
Навстречу, как река из горловины,
выплескивался на берег народ.

Меня влекло попутное течение —
как в отрочестве взятый «на слабó»,
я сам нырнул под землю легче тени,
вослед волне и вспомнив о Рембо.

Я за минуту жизнь прожил в рассрочку —
дита в пуху и старый хрыч во мху —
и вся она, сирессованная в точку,
была подобьем жизни наверху.

Покуда шла вселенская продажа,
я шыл, от вождения дрожа,
я — маленькая жертва абордажа,
псоньгтная пьяная баржа.

Мы шлыли — все! Какой-то силой выпнсьй
нас увлскал безудержный поток,
«И черным ходом к будущцему выпши», —
я громко повторил бы, если б смог.

Но как сго ни псстусьп, ни холипсь —
стих не приблизит радостный финал.

и свет в конце туннеля был всего лишь
прозрачной гранью между двух зеркал.

Меня валы могучие качали,
и с двух сторон у выпербленных стен,
вослед мне пели, кланчили, кричали
и зазывали тысячи сирен.

И завернув в цветастую полу
дитя с чертами выроodka-сатира,
сидела на зашлеванном полу
любовь, что движет солнце и светила.

II.

ИЗ ПРОВАНСАЛЬСКИХ ЭЛЕГИЙ

I

Я люблю работать у окна,
где шумит листва и свищет стая,
или, как сейчас, — когда весна,
и над Арлем — шум и свист мистралья.

В карликовом этом городке,
утонувшем в красной черепице,
я живу легко и налегке —
то-то мне на месте не сидится!

Делаю по городу крути —
что на свете слаще ротоzęю?
На реку гляжу из-под руки
да на камни римские глазю.

На субботний рынок забреду —
он с утра от пряностей неистов,
и себе на радость и беду
затеряюсь в царстве букинистов.

На развале — кто с ним не знаком?
Лист оторван, корешок порвался, —
я листаю почерневший том
с древними поверьями Прованса.

И брожу в тумане, как в дыму,
на своих, незримых, пепелищах,
здесь, где я не нужен никому,
никому не нужен, кроме нищих.

Все здесь по-восточному нестро,
все несприхотливо и лениво.
Я сижу за столиком в бистро,
выбирая кофе или пиво.

Завсегдатай, беспородный пес,
новичка расколлет без промашки,
молча глядя чуть ли не до слез
на мои солсные фистанки.

Так я нянчу маленький восторг,
то на то уставясь, то на это,
тут же вспоминая, как Лафорт
смаковал парижские приметы.

Вот и я под стать ему — сужу
по стихам, вы их еще прочтете, —
в зал библиотечный захожу:
он и у меня в большом почете.

Я сижу до ночи у окна,
мне милей всего моя свобода,
и почного таинства полна
сладостная бездна перевода.

А к утру, когда приходит срок
новым откровениям и темам,
под руку берет меня Ван Гог
и уводит к монастырским стенам.

2

Как ни странно, издали боли — резче,
опаснее — мысли, привязчивей — вши.
Все, что дома осталось, кажется благом.
Даже черствый кусок, как ни странно, лаком.

Лаком покрыты картинки в дальях,
прямо не жизнь, а какой-то Палех.
Зато все большие морщин и складок
здесь, где воздух душист и сладок.

Это перемещение по миру
меняет картину мира помалу:
где-то прижиться — боже помилуй,
дома остаться — горше, пожалуй.

Дом — в опаску, чужбина — в тягость.
Бог его знает, что за двоякость.
Так все, что летит, одного порядка:
два крылышка — и одна посадка.

3

Под мостом Мирабо — я не видел, быть может, —
тихо Сена течет, но меня не тревожит.
На мосту Авиньонском — быть может, и это —

и поют, и танцуют всю ночь до рассвета.
Я не знаю, не прожил я эти мгновенья,
не дают мне покоя другие виденья:
то утопленник навзничь, то убитый враспяжку —
под мостом через Мойку, на мосту через Пряхку.

4

Веронике Долиной

Невеселые лица у русских в Париже.
Им чужое — родней, но родное — ближе.
Их о чем-то важном еще не спросили.
А главное — знают, как жить в России.
Наше время куда веселей, чем прежде.
Им давно комфортно в чужой одежде.
А то, что на лицах следы кавычек, —
дело мускулов, то есть, дурных привычек.

5

В окно автомобиля выгляни —
вот мост лежит, осовременив
пейзаж. Его сложили римляне
из нестарящихся камешков.

В нем совместились мощь и грация,
он словно свиток без пометки,
и, может, вся цивилизация
обязана вот этой арке.

И если видеть — в виде крайности —
красугольный камень в рабстве,
нелепо говорить о равенстве
и глупо говорить о братстве.

Не оттого ли так устросно,
что здесь, вблизи, и в дальней дали
рабы — во все эпохи — строили,
а революции — сметали?

И потому, быть может, выпала,
покуда строим и сметаем,
нам лишь одна свобода — выбора
между рабом и негодяем.

6

«Ум всегда в дураках у сердца», — оставил
нам Ларонфуко свое наблюденье.
Как цемент в груди от него! А все же
сила разума горнее, чем сила чувства.
Перевод с французского тем и тонок,
что невольно высь сопрягает с бездной.
Остается зазор, объяснимый только
в переводе с русского на небесный.

7

Я не любитель руин, камни меня не волнуют,
даже если они созданы зрелой рукой.
То ли дело, когда на обломки усядется дева, —
ручкой на них опершись, ножкой по воздуху бьет.

Сразу становится мне все вокруг интересно,
я в любопытстве своем встать к ней поближе
стремлюсь.
Увы, ни разу на мне дева свой взгляд не задержит —
вижу я, скучно и ей зрелище древних руин.

8

Купальщицы Дега и девы Ренуара
при всей их красоте они тебе не пара.
Ах, этот скользкий взгляд и розовая кожа!
Но мне куда милей твоя, живая, все же.

Мане бурлит, Ван Гог по-прежнему неистов...
Как пахнет юностью от импрессионистов!
И сквозь фасетки стрекозиные Сислея
вновь я гляжу вокруг светлей и веселее.

Но выбрана судьба, и век во многом прожит,
и первая любовь щемит, но не тревожит.
Как линии чисты, как неоглядны дали!
Но мне куда важней оттенки и детали.

Как в детстве бабочку, скользящую над садом,
ловлю себя, когда скольжу невольным взглядом
по лицам зрительниц, по профилям прелестным, —
вот что мне кажется живым и интересным.

Я опасаясь слов «пробирка» и «реторта».
С прозрачной памяти пыльца невольно стерта.
Так много здесь теней, а там так много света, —
но ты жива, и я люблю тебя за это.

МЕЛАНХОЛИЯ

Стала складываться тоненькая лирика,
гуттаперчивая, как эквилибристка.
Словно в сумеречном обмороке Чирико —
все пустынно, и округло, и ребристо.

Сам не знаю, что мне делать с этой ношей,
с этой тонкой, чьи ладошки, как закладки, —
вот за тем углом, наверно, просто броню сс
и уйду до горизонта без оглядки.

БУКВАРЬЕТЕ, ИЛИ ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ О ЛЮБВИ

1. Ученик

Разъять слова—
любимос занятыс.
Любовь нова,
как всякос объятьс.

Разъять, объять
все пристальней, все чаще.
Я сесь оныйть
язык твой изучащий.

2

Глаголы губ — их тонь, и глубь,
и оторонь, и торонь.
Их поцелуем приголубь —
и прилстит глаголубь.

В театре звуков лицедей
и режиссер подкорки,
глаголубь жжет сердца людей —
до эха на галерке.

А все овации в конце
вернутся поцелую,
что «бэ», и «пэ», и «эль», и «цэ»
склевал и стих, ликуя.

Морщить,
кривить,
поджимать,
надувать,
распускать...

Сколько глаголов
чтоб губы твои описать!

4. Рассвет

Медленно проступает
все, что бело и голо:
призрак потолка,
признаки пола...

5. «Изы» прожитого

Из мифа в миф
изгиб, излом, извив.

Из века в век
извод, излет, извет.

Из года в год
гляжу на них с тоской:
увы, но в этом мире
я — изгой.

6

Мысли все обнажены,
чувства все раздражены,
нервы все напряжены.

Вот так приобретаешь навык
жить в окружении приставок.

Обнараздранапря —
а зря!

7. Все кончается

Любовь моя — ау!
Куда же ты, куда ты?
Кончасься на у —
на уровне цитаты.

8

Cynthia, prima suus miserum me cepit ocellis
Contactum nullis ante cupidinibus...

Проперций

Цинция, примус угас — вот и наша любовь угасает.
Кто ее вспомнит в кругу микроволновых страстей?

СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА

Люблю основу всех основ —
поэзию служебных слов.

Я слышу, языком потрогав,
восторг союзов и предлогов.

И птичье пенье «ни» и «не»
с утра до вечера — во мне.

Люблю, как детское спасибо,
упрямство «бы», сомненье «либо»

и к нетерпению громких «ну!»
я всей своей душою льну.

Как хруст в лесу опавших веток,
я слышу «то», и «так», и «этак»

и различаю без труда
ворчанье «нет», урчанье «да».

Да я и сам себя во многом
нередко чувствую предлогом,

чтобы рождался из частиц
союз детей, зверей и птиц!

ПАМЯТИ ОЛЕГА ГРИГОРЬЕВА

- Сколько росту вы весите?
- Метр семьдесят килограмм.
- А куда вы все время лезете?
- Лезу за пазуху вам.
- А что вы там ищите?
- Камень.
- Он не под мышкой, а в почке.
- И что вы там рвете руками?
- Я собираю цветочки.
- Нельзя разрушать искусство,
душе пустотой грозя!
- Тогда покажите пусто
и дайте мне, что нельзя!

КТО У НАС ДЕЛАЕТ ЛИТЕРАТУРУ

Уцелевшие двадцатых,
обреченные тридцатых,
перемолотые сороковых,
задушенные пятидесятых,
надеющиеся шестидесятых,
исковерканные семидесятых,
разобщенные восьмидесятых,
нищие девяностых —

уцелевшие, обреченные, перемолотые,
задушенные, надеющиеся, исковерканные,
разобщенные нищие...

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Леониду Цывьяну

Мне этот вечный сад все больше
напоминает зыбкий сон,
где узнаваемы детали
и только взгляд чуть-чуть смещен,
где под корою, как в подкорке,
таятся земли и края,
где под ногой пугнит валесжник,
как время прошлого.

А я,
заложник следовых реакций,
ступаю по чужим следам,
садовнику и дровосску,
я всем и каждому воздам;
и в этом сне себя, быть может,
воображать всего точней
как свежий след вчерашней яви,
ауконись грядущих дней.

* * *

То, что раньше считалось конспектом,
беглой записью мыслей чужих, —
называется нынче концептом,
превращается в прозу и стих.

Раньше были этапы и ссылки,
и доносы, и брови вождей.
Нынче стали цитаты и ссылки
прежних страхов и крови важней.

Ничего не случилось. Культура
превращается в кокон, пока
зрест в куколке барсова пшкура,
чтобы лечь на шпечо мотылька.

И в заботах о кукольном скарбе,
чтобы дупу занять и развлечьь,
ходит лирика с розовой Барби
и коверкает взрослую речь.

* * *

Журналы на части раздергав,
газеты порвав на куски,
находит любитель кроссвордов
спасенье от смертной тоски.
С охапкой бумажных страничек
свой век скоротать он готов —
отгадчик, разведчик, добытчик
диких знаний и слов.

Безумец, почти что невротик,
к иному и слеп он, и глух.
Язык! Смертоносный наркотик,
смещающий зренья и слух.
А на сердце сладко и горько,
а к ночи гудит голова...
Пространство судьбы — это только
забитые в клетки слова.

ОСТАНОВКА НА ПОЛУСЛОВЕ

И опять: не могу дочитать до конца
эти книги — и, вроде, поэты
хороши, но, как грим удаляют с лица,
отмирают слова и предметы.

Вдруг почувствуешь: всё. Ни к чему продолжать
и кивать головою, как дятел.
Нет, скорее на воздух — дожить, додышать
час, который на книгу потратил.

А на улице снова и слякоть и смог —
отдавая декабрьскую дань им,
застывает строка, задыхается слог,
продолжается фраза молчаньем.

Так на мокрый песок набегает волна —
что ни миг отступить наготове...
Вся поэзия этим сегодня полна —
остановкою на полуслове.

* * *

Только в юности легко писалось —
муза, муза, я почти ослеп!
Не случайно мама опасалась
за неверный этот хлеб.

Я бреду наопуль по странице
вдоль садов и городов,
пальцами опупывая лица
встречных букв и проходящих слов.

Что же останется мне? Терпенье
пополам с надеждою, пока
утреннее внутреннее зреньё
пробивает тьму черновика.

Ангел за рукав меня не тронет,
не окликнет голос, юн и чист,
разве что в ладонь мою обронит
куст осенний
свой последний лист...

* * *

Черемухой пахнет цветущий миндаль —
мне этой строки неожиданно жаль:
осталась никчемной, бездомной,
лежит себе в папке укромной.

А жаль — потому что явилась на свет,
и вот уже брезжит неясный сюжет,
его застеклить и обрамить
спешит пробужденная память.

Не стоит ходить вперемишку с толпой:
сюжет — это то, что случилось с тобой.
И сладкий миндаль отчего-то
горчит, как семейное фото.

III.

ПРОЗА ПАМЯТИ

Минна Исасвна Дикман,
незабвенный редактор,
в начале семидесятых
мне говорила вско:
— Если Вы хотите,
чтоб книга Ваша вышла,
выкиньте все посвящения,
эти альбомные пгучки.
Глеб Сергеевич не обидится,
Борис Яковлевич тоже,
а уж Ефима Григорьевича
и вспоминать неуместно...

В начале семидесятых
мне до того хотелось
быть со всеми, рядом,
с друзьями, с учителями!
Глеб Сергеевич умер.
Борис Яковлевич тоже.
Ефим Григорьевич превратился
в почту с оказией,
в беглый почерк.
Вот и Минны Исасвны нет на свете,
и книга, конечно, так и не вышла.

Ходит-бродит по дому
русская культура,
гасит настольные лампы,
запирает покрепче двери,
уходит, исчезает,
и только остается
прашамять,
запамять,
проза памяти,
проза памяти посвящений.

* * *

Когда строку диктует чувство...

Б.Пастернак

Вкус недосказанности горек,
и опутанность всем нутром,
как от лирических риторик
все чаще пост под ребром.

И поиск стиля так невятен —
опять все бросить... все пачать...
А на подсчете лунных пятен
лежит безумия печать.

Когда кончается эпоха
и тает прошлое в дыму,
от иронического вздоха
не удержаться никому.

И то, о чем грустит риторик
и на подмостках слезы льет,
восстав из гроба, бедный Йорик,
не удержавшись, осмеет.

* * *

Между страхом бежать и тоскою остаться
воробьиное сердце стреляет в ладонь.
Так и тянет порой на земле распахнуться
и смотреть на чужой, на высокий огонь.
Там, за окнами, ходят волшебные тени.
Там, наверно, легко и красиво дышать.
Если только и там не трепещут в смятении
меж тоскою остаться и страхом бежать.

* * *

«Изгнание — патент на благородство.
А ты хлебай свое дерьмо и скотство!» —
не так ли ты со мною говоришь,
мой новообретенный пувориш?
Хлебаю. И уже не строю виды.
Я с будущим расчелся навсегда.
И нет постыдней праведной обиды.
И нет обидней ложного стыда.



Господин Фаршесдов,
автор напумсвшей «Крысофобии»,
прижал передние лапы, вытянул задние обе и
потянулся, на солнышке млея,
поскольку сожрал еще одного ротозея.
С тех пор, как ему перестали протягивать лапы
местные химики и эскулапы
из общества защиты пернатых и грызунов,
он стал еще большим потрясателем основ
и карнизов,
по ночам выходя на охоту и бросая сородичам вызов.
Так и движется наша эпоха:
все, что плохо — плохо, и все, что прекрасно — плохо,
оказалось, что вдруг ни эстетики всюду не стало,
ни этики,
и радетели прав на цветенье в лугах собирают букетики.
Вот и семейство Лютиковых собирается в путь:
Лютиков-папа хватается с горя за грудь,
где угнездились его родные жучки и личинки;
Лютикова-мама впопыхах пересчитывает тычинки;
а Лютиков-сын вздыхает сладко и тяжело —
прощай, маргаритка, прощайте, ландыш и кашка!
Он машет им лапкой, он их на прощанье кличет —
но кто-то его прижимает к земле
и, слезя на спинке, мурлычет...

* * *

Два месяца висел над нами зной,
дыханьем небо бледное прочистив,
и редкий дождь, как ножик разрезной,
шуршал вдоль желтых, выгоревших листьев.

С залива напелзал под вечер смрад,
отпускников сдувая из-под тентов,
и рос на горизонте Пустоград
огромной кучей белых экскрементов.

Над просекой столбом стояла сушь,
зудел комар, упрямый, как мятежник.
Метафорой древесных мертвых душ
похрустывал в черничнике валежник.

А воздух плыл, а жизнь текла, спеша,
так бегло наугад и так некстати,
что превращалась в перечень душа,
внезапно обрываясь на цитате.

И дождь шуршал, как ножик разрезной,
небрежно обрезаая междометья,
и желтый лист опять дышал весной,
очнувшейся на миг в чужом столетьи.

* * *

Несгораемый сейф залива в огне заката,
серебро снующей за толстою дверцей рыбы,
быстрое тело, вскрывающее, как фомка,
эту свинцовую воду с замковой ржавью...
Видно, и впрямь, прожился я до копейки:
глаз примечает то, что душа лелеет.
Что-то я стал считать падучие звезды.
Что-то давно не слышу лесной кукушки..

* * *

Я пошел на выставку Шагала,
чтобы встретить тех, кто не уехал.
Оказалось их не так уж мало:
были там Наташа, Юля, Алла,
были Рабинович и Хаймович,
Саша, Маша, Вова, доктор Пальчик.

Алла говорит: «Мы послезавтра».
Юля говорит: «Мы на подходе».
«Там нельзя, — откликнулась Наташа, —
там нельзя, но здесь невыносимо».
«В Раанане, — отвечает Саша, —
тут, у нас, все очень даже можно:
можно жить, работать можно дружно».
«А у нас под Вашингтоном, душно, —
Вова говорит, — и нет работы».
Маша возражает: «Здесь прелестней —
швабский воздух, пиво, черепица...»

Доктор, доктор, надо ль плакать, если
Диделя давно склевали птицы?

Рабинович сел на стул при входе —
он в летах, и у него одышка.
А Хаймович — тот совсем мальчишка,
правда, он в Освенциме задушен
и скользит, как облачко, вдоль зала.

Я пошел на выставку Шагала,
но тебя на выставке не встретил.
Только край оливкового плаття
над зеленой крышей промелькнул.

ТРАКТАТ О РУССКИХ ЕВРЕЯХ

Марине Темкиной

I

Черта оседлости
отработала в каждом из них
черты усердности.

Повышенная ранимость,
благодаря заведомой картавости,
переросла в повышенную гонимость.

Еврейские страхи
зарифмовались и сделали явью
библейские строки.

А чувство долга
при постепенном исчезновении чувства локтя
превратилось в чувство морга.

II

Исходя из концептуальной теории перформанса,
русские евреи в конце двадцатого века
стали невольными участниками
невиданной инсталляции —
случайно раскиданные по всей земле,
крохотные очаги культуры,
ищущие и не находящие
самоидентификации.

III

Что до меня —
то я неприкаян и неприравнен:
я неправилен.

* * *

Любовь к родному пепелищу... и гробам...
нет-нет да и напомним нам,
что дым отечества... и сладок... и приятен...
плывет, в накрапах трупных пятен.
В патриотизме есть душок некрофилии.
В сушь африканскую свали — и
там — там еще скорей! — что вспомнит блудный сын?
пыль, гниль, прель, цвель, — все эти «эль»
на языке родных осин.
Не блудный сын — а прудный, травный,
на чувства прочие бессилен или скуп,
в своей любви, далекой и исправной,
нет-нет да и смахнет червивый привкус с губ.

И вот они выплывают из прошлого —
сайгоновские завсегдагаи:
вздохмаченные, небритые, вечно поддатые,
канувшие в Лету и вынырнувшие из Гудзона,
приглаженные, стриженные, вроде газона,
но по-прежнему непреклонно пьющие
и на всю нашу жизнь со своих небоскребов плюющие.
Правда, при ближайшем рассмотрении
небоскребы превращаются

в довольно приземистые стросния,
в подвалы, в каморки, в квартирки,
правда, с едой в холодильнике и мягкой бумагою
для подтирки.

А бывлые собрания и выклянчивания мелочи
превратились в мелочь собрания и выклянчивания
былого,

из которого умеючи
можно извлечь два-три свежих слова.
Но все остальное — по-прежнему там,
в шестидесятых-семидесятых,
и память ведет этих стриженных, гладких, поддатых,
возвращая к насиженным с детства местам,
где стакан бормотухи заедали пирожками с повидлом
те, кто были быдлом,
а стали «мидлом».

* * *

А вот еще один, задыхающийся: «ка... ка... ка...» — из своего заокеанского далека.

Брызги слюны это вовсе не брызги пены.

Все же как жаль неприкаянного старика —
очи его отвисли, слезятся члены.

Покинувший город, где был он известен тем,
как размахивал тростью, ее превратив в тотем,
да песенкой барда на пару туманных строчек,
от вечного крика он стал совершенно нем.
Так гложет от вечной, тупой стрельбы пулеметчик.

Жизнь обратил он в идею, что должен весь
в ушко допотопной славы до пяток влезть:
вот что для плоти — цель, а для сердца — вера.
«Хлябь нашу насущную даждь нам днесь», —
говаривали няды Жака Превера.

Хляби насущной дождавшись, теперь он сыт
и пьян от проглоченных слов, слез и обид.
Былые друзья прошлись по нему, как гунны.
И ночью, замшелый странник, он тяжело спит
в отеческом иле, на дне заморской лагуны.

* * *

Не хватает срунды, дурости, трепы
с теми, кто сходит с трапа,
выбирая ступеньки поближе к раю.
Теперь их Манхаттен с краю.
Что же меня тревожит и что задачит?
Отныне мой день закончен, когда их начат.
Лишившись единства времени, места, жизни,
мы понимаем, что прежде жили при классицизме.
У них начинается место, у нас — время.
А жизнь остается с теми и с теми:
мечется с места на место, часы на часы меняя, —
где там поближе к раю?

* * *

Зимний вид в окрестностях Гааги.
Люди, лодки, тучи, шпили, флаги.
Весь ландшафт — простор и теснота —
нынче не руины и овраги,
а сиянье, бьющее с холста.

Над былым нетрудно изгаляться,
если стерто прошлое до пят.
Пусть парят летучие голландцы —
малые голландцы мир творят.

Так в эпоху, пахнущую шквалом,
есть немалый прок остаться малым.
И пока бушует вест и ост,
свищет птица за окошком талым
тенью перечеркивая холст.

ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА

Лишь ты, воробей, не подвластен печали,
покуда собратья твои одичали:
тот дружбу с котами заводит,
тот песню военну заводит.

А ты все трепещешь, а ты все ершишься,
над каждою кропкой своей веселишься —
хотя и ничтожная малость,
а все-таки честно досталась.

Ты скромное детище нашей системы,
и чувствую я, что с тобою в родстве мы:
нашли подходящие ниши —
не выше других, и не ниже.

Ты не был халдеем, а я — лиходеем,
и все же, надеюсь, что мы уцелеем:
за горстку удачи с везеньем
заплатим терпеньем и пеньем.

* * *

Владимиру Аленикову

Двадцать лет синопные провода,
перскличка слов банальных...
Вот и все надежды пропиты
на безудержных отвалных.
И мечты о вольном дружестве,
словно в детстве страхи-ужасти,
не успев наружу вылезть,
поманили — и забылись.

Шлют привет из Досвидании
наши лели и хариты.
Слава богу, тени давние
не сидят и не убиты.
Но, вкусив разлуки досыта
и пройдя полмира по свету,
возвращаются друг к другу —
как бутылочка по кругу.

Словно в детстве возле колышка,
сядем рядом узнаваться.
На кого покажет горлышко —
с тем и будем целоваться.
А когда веселье кончится,
вслед молве и старым сплетням,
золотого одиночества
из горла хлебну последним.

* * *

Голос, записанный на кассету,
иногда подобен кассету,
оглушающему паузами, сбивками речи, глухими
затяжками сигарет—
всем так смертельно знакомым, чего уже нет
рядом, но есть на другом полушарии, куда не пробиться.
И вдруг начинает гукать чужая ночная птица.
И голос тотчас выходит из черного надгробия диктофона
и размещается в мире на фоне лесного склона,
чистых полей, красивых машин— всего,
что умест «Кодак».

И жизнь превращается в стол находок.
Голос старого друга вновь открывает дверь —
тогда я сажусь за письменный стол потерь
и застываю, надолго уставясь в точку в конце строки,
и слушаю, как из порта шльвут ночные гудки.
Так и будем перекликаться, в окошко биться —
птица, гудок, птица, гудок, гудок, птица,
от себя добавляя затяжки, шпорохи, те посторонние звуки,
из которых и состоит алфавит разлуки.

СОДЕРЖАНИЕ

I.

«Я сажусь в электричку и еду в ближайший пригород...».....	4
Уличные верлибры.....	5
«То ли ранняя тьма, то ли снова зима...».....	7
«Чем больше клеветы, тем больше в ней...».....	8
Вниз головой.....	9
Осколки элегии.....	11
Из дневника переводчика.....	13
«Жил-был еврей рассеянный...».....	15
«Раньше жили постандно, теперь — постыдно...».....	17
Вчера и Завтра.....	18
Сегодня.....	18
«К тридцати мы забываем науку...».....	19
«Сгорает последняя горстка...».....	20
«Что осталось от наших игр?...».....	21
«Все посланья мной уже получены...».....	22
Подземный переход.....	23

II.

Из провансальских элегий

1. «Я люблю работать у окна...».....	26
2. «Как ни странно, издали боли — резче...».....	28
3. «Под мостом Мирабо — я не знаю, быть может...».....	28
4. «Невеселые лица у русских в Париже...».....	29
5. «В окно автомобиля выгляни...».....	29
6. «Ум всегда в дураках у сердца», — оставил...».....	30
7. «Я не любитель руин, камни меня не волнуют...».....	30
8. «Купальщицы Дега и девы Ренуара...».....	31
Меланхолия.....	32
Букварьете, или восемь стихотворений о любви.....	33
Служебные слова.....	36
Памяти Олега Григорьева.....	37
Кто у нас делает литературу.....	38
Искусство перевода.....	39

«То, что раньше считалось конспектом...».....	40
«Журналы на части раздергав...».....	41
Остановка на полуслове.....	42
«Только в юности легко писалось...».....	43
«Черемухой пахнет цветущий миндаль — ...».....	44

III.

Проза памяти.....	46
«Вкус недосказанности горек...».....	47
«Между страхом бежать и тоскою остаться...».....	48
«Изгнание — патент на благородство...».....	49
«Господин Фаршеедов, автор напумевшей «Крысофобии»...»	50
«Два месяца висел над нами зной».....	51
«Несгораемый сейф залива в огне заката...».....	52
«Я пошел на выставку Шагала...».....	53
Трактат о русских евреях.....	54
«Любовь к родному пепелищу... и гробам...».....	55
«И вот они выплывают из прошлого...».....	56
«А вот еще один, задыхающийся: «ка... ка... ка...».....	57
«Не хватает ерунды, дурости, трепа...».....	58
«Зимний вид в окрестностях Гааги...».....	59
Зимняя песенка.....	60
«Двадцать лет сплошные проводы...».....	61
«Голос, записанный на кассету...».....	62

Михаил Яснов
АЛФАВИТ РАЗЛУКИ
 * * *
ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

Редактор *Ю.В.Коробченко*
 Художественно-технический редактор *Г.Л.Лапишова*
 Корректор *В.Г.Степанова*

Подписано в печать 28.06.1995 г. Формат 70х100^{1/32}. Объем 4 п.л.
 Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ 0000.
 Княгининиздательство «Всемирное слово». Санкт-Петербург, Шпалерная, 18.
 Отпечатано в типографии